

Казнь Махамбета - 9 / продолжение

Category: Kitarcy, Romanlar

написано kitarcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -9/ продолжение История третья

- Бунтарь

– Ну, будем молчать, господин хороший? – вошедший в кабинет начальника Калмыковской крепости седой господин в мундире коллежского асессора хмуро посмотрел на бумаги, что лежали на столе, и составляли суть «дела» этого необычного арестанта.

На самого арестанта высокий чин даже не изволил поднять взор. Вопрос прозвучал как бы в никуда, и ни к кому: что арестант, что дознаватель из гарнизонных служивых, искренне считая, что вопрошали не его, предпочитали и в самом деле молчать. Тяжелая, душная тишина повисла в натопленном по случаю холодной осени кабинете, нарушаемая лишь шуршанием перебираемых бумаг из скудного «дела» арестанта Махамбета Утемисова.

Назначенный на расследование «дела о кайсацком бунте», и недавно возведенный в чин коллежский асессор Семен Герасимович Кричевский работу свою не любил. Давно увлеченный живописью, и не сумевший состояться на этом поприще по причине бедственного состояния разорившегося родителя своего, он в годы оные подался на государеву службу от безысходности и отчаянья, извечная скупость помешали обзавестись семейством, и только случившийся пять лет назад перевод в Оренбург, под начало генерал-губернатора Эссена, совершил в его судьбе счастливейший пассаж: избыток свободного времени и возросшее жалованье позволили вновь предаться давнему своему пристрастью. К тому же, устоявшийся состав служивых, от жандармов и до высших чинов полицейского управления в Оренбурге, работу свою знал и делал исправно, давая возможность пришлому начальству без особых хлопот упражняться

в живописании маслами холстов с видами бескрайних степей, одинаковых отчего-то верблюдов, коней, и редкой кайсацкой юрты на горизонте. Все сюжеты картин коллежского асессора повторялись, подобно самой жизни в этих степях, где каждый новый день повторяет прошедший, а виды окрест, все вокруг, куда ни глянь, одинаковы. И таковое положение господина Кричевского устраивало вполне – и как живописца-любителя, который за свою жизнь так и не сподобился изображать действие, но исключительно неподвижную натуру, и как чиновника, стремящегося к порядку и стабильности во всем.

Однако оренбургской синекуре недолго было длиться – кайсаки бунтовать удумали! Слава те, Господи – при этой мысли коллежский асессор, будучи человеком таки набожным, перекрестился, чем вызвал недоуменный взгляд обер-полицмейстера, – так вот слава Богу, воистину, что не супротив государя русского, но против своего хана бунтуют, а у императора, гляди, явились даже вспомогательства просить! *Garçons naïfs*, словно дети малые, не понимают, что одна власть всегда другую поддержит, и бунтари да смутьяны ни у какого властителя не в чести, а уж тем паче, что хан кайсацкий в управленье народом самим государем-императором назначен! Петра Кирилловича Эссена, перебравшегося губернаторствовать в Петербург, и довольно милостиво относившегося к Кричевскому, сменил на посту совершеннейший солдафон и поборник всяческой муштры, любимец государя, граф Василий Алексеевич Перовский, решивший не давать поблажек пейзажисту-любителю, числившемуся на службе обер-полицмейстером. Поступил приказ совершить пренеприятнейшее и весьма хлопотное путешествие через всю Бокеевскую Орду, и направиться в Калмыковскую крепость, где содержался один из наиглавнейших смутьянов и бунтарей, этот самый Махамбет, пойманный за призывами к смуте в одном из приицких аулов. Доподлинно было известно, что к Махамбету этому кайсацкий хан Жангир особый интерес имеет. Вот господин граф и вмешался на самом своем, так сказать, высочайшем для нашего захолустья, уровне. Потому как с ханом Жангир Кереем лично знакомство свел, будучи при передаче дел самим Эссеном ему представленным, и вообще с владычествующими персонами в

весьма положительных отношениях состоять привычку имеет. Словом, кесарю – кесарево, хану – ханово, а смутьяну – острог да батоги!

Впрочем, как раз-таки бить арестанта господин губернатор строго настроено запретил! За Махамбета Утемисова с письменным прошеньем обратились и местная научная знаменитость Владимир Иванович Даль, и главный муфтий Оренбурга Мустафа Агай, что приходится тестем аж самому кайсацкому хану Жангиру, и даже, как ни странно, сам хан Жангир, супротив коего сей Махамбет бунтовать и удумал. Слышал Кричевский историю о том, что бунтарь этот с ханом своим в годы оны в дружбе был, и даже воспитателем сына его состоял, так с чего же такой пассаж случился?

– С чего вы, мил человек, супротив благодетеля своего бунт поднять решили? Разве же дело это? Вот он за вас лично письмо с прошеньем составил, собираясь в Петербург, где у самого государя аудиенцией чести удостоен будет! Я, знаете ли, и сам по пути сюда имел удовольствие быть принятым ханом Жангиром... весьма образованный для вашей народности человек, супруга такая... гм, видная, действительно!.. – охочий по молодости до прекрасного полу, Кричевский задумался, вспоминая, видать, очаровательную ханшу, виденную им в прошлом году на губернаторском балу, и произведшую настоящий *la sensation* в высшем обществе захолустного Оренбурга. Опомился, потер бритый подбородок большим пальцем, чуть заляпанным охряной масляной краской с утренних экзерсисов в живописи, добавил раздраженно:

– Зря вы это затеяли, и должно вам ныне покаяться, и нам, службистам государевым, всю правду за бунт ваш изложить! Так что извольте строптивость нам тут не являть, но подчиниться...

– С господином подполковником, Владимир Ивановичем говорить буду! – перебил коллежского асессора арестант, наконец нарушив свое молчание. Кричевский разочарованно вздохнул. Эссен строго-настроено велел исключить Даля из участия в этом деле, уж очень заботился генерал-губернатор о «своем» этнографе, к которому испытывал определенную симпатию, и не желал впутывать ни

в какие политические смуты. К тому же, Владимир Иванович вот уже три дня как выехал с экспедицией из Гурьева в Уральск, откуда должен далее следовать в Оренбург. Там же его ожидает предписание от Петра Кирилловича следовать в Петербург вместе с губернской делегацией, в составе коей, собственно, и пребывал Жангир хан со своею очаровательной супругой Фатимой. Так что, даже не будь приказа генерал-губернатора, устроить встречу Утемисова с Далем, письмом своим участие в судьбе арестанта уже принявший, однако же экспедицию никак отменить не пожелавший, Кричевский не смог бы, даже сам пожелай того.

– Понимаю, однако никак в том содействовать не могу: господин Даль пребывают в экспедиции, и вернутся не скоро. – миролюбиво попытался подойти к арестантскому капризу коллежский асессор, однако Утемисов лишь упрямо мотнул большой бритой на кайсацкий манер головой, чем вызвал раздражение чиновника.

– Ждать буду! – сказал, как отрезал Махамбет.

Кричевский задумался. Собственно, отложить решение этого дела в долгий ящик ничуть не смущало чиновника империи, знавшего обыкновение своей службы: порой, дело, отложенное да забытое в империи нашей суть решенным и становится! И коли не желает арестант говорить нынче, значит, следует безо всякого сомнения перевести его сразу в острог, а суд... суд пускай сам Петр Кириллович и назначит, а наше дело – маленькое, наше дело – служивое...

– В острог его! В холодную! Одиночную! И пребыть ему там до особого распоряжения! – грозным голосом приказал Кричевский, развернулся, и вышел, оставив гарнизонного дознавателя оформлять бумаги на арестанта, а самого Утемисова – далее упорствовать в своем молчании.

+ + +

В молчании ехал он до самой ставки Исатая – обычно говорливый, вступавший в шутки и споры с обозным людом, в эту свою поездку он был мрачен, погруженный в невеселые думы о том, что же происходит в его родной степи. Ни одного степняцкого кочевья не встретил по пути обоз, вышедший из Оренбурга и

направлявшийся в Уральск, словно попрятались все, в ожидании чего-то позабытого в орде, собранной Бокей ханом, чего-то страшного, после чего молодые жигиты не возвращаются в свои аулы, а старики ездят в гости не для праздничных тоев, но поминальных собраний. Степь замерла в ожидании войны.

Не доезжая до Уральска ста верст, Махамбет покинул обоз, и в одиночку направил своего коня на восток, туда, где в это время должен был стоять аул Исатая Тайманова. На самой границе с казачьими землями ставил свои кочевья последний полководец Бокеевской Орды, там, где клинки и отвага его жигитов были нужнее всего. Так было всегда, еще при отце хана Жангира, владетельном хане Бокее, так было и при нынешнем потомке великого Шынгыс-хана, возведенного на белую кошму согласно обычаям, против которых ныне сам Жангир Керей хан и пошел.

Поздняя осень такой, какая она бывает на севере или западнее границ Орды, здесь, в землях окрест Жайыка, себя никак не проявляла. Не бывало в нашей степи осени, обыкновенной для иных краев, и только по становящимся короче дням, да собирающимся в кочевье к своим зимовкам-кыстау аулам можно было определить приближение злой, беспощадной к человеку степной зимы. Она и приходила внезапно, как враг всему живому, словно неизбежная смерть, завершающая собой обманчиво кажущийся смертному бесконечным, жизненный путь. Предки говорили: караша-ноябрь словно хвост уходящей осени, нос щекочет скачущему вослед декабрю-желтоксану, месяцу, что принесет с собой девяносто ветров. Ноябрь только прокрался в степь, а щекотка его чувствуется разве что ночью, и холодно от той щекотки. Но то будет, когда солнце зайдет, а сейчас жарко от солнца ноябрьского. По-хорошему, следовало бы встать на стоянку, а ночью в путь двинутся, оно и коню легче будет, но нельзя – торопится Махамбет, спешит к побратиму, чувствует – нужда в нем.

Не поспел! К вечеру добрался до места, где кочевью стоять должно, но нет никого, и только по следам редким можно понять, что еще неделю назад снялись с места все полсотни юрт, и двинулись... куда? Не к Гурьеву же, в самом деле, ведь там казаки, нельзя туда нынче Исатаю никак, хотя именно там

родовые зимовки старшины рода беришей. По следам не поймаешь – не хранит степь следов, быстро затирая бесконечные, и по сути всегда одинаковые истории кочевий по своим бескрайним пространствам. Что орда по степи пройдет, что буря в небе – внушительно здесь и сейчас, а как отгремит-проскачет, уже не и не вспомнишь, тишь да зелень с синевой. Придется на ночь становится – решил Махамбет. Самому себе даже признаваться стыдно, что одна надежда – на духов-аруаков степных. Так шаман старый учил: встань ночевкой на месте, откуда кочевье ушло, и добрые аруаки во сне подскажут, куда идти, чтобы догнать своих.

Так и поступил. Встал стоянкой на ночь на месте старого кочевья, на землю голую кииз-подстилку из верблюжьей шерсти расстелил, шапаном старым дорожным укрылся, не забыл перед сном вокруг спального места веревку из конского волоса кинуть, от змеи да паука-тарантула. А духи возьми, да и не явись в эту ночь, хуже того, и сна нет, одно мученье – ворочается Махамбет, сын Утемиса, кошму под собой комкает, в ночное безоблачное небо взглядом пустым смотрит, не видит – ни снов, ни звезд, ничего не видит. Будто отрезала его Великая Степь от силы своей. За что, за какой такой грех и не ведает сын Утемиса. Чует сердцем только – отгородилась от него земля предков, не пускает в душу свою, словно обиду держит.

Однако, и не губит, не сбивает с пути, чтобы потерять в необъятной шири своей – наутро, бессонный, усталый, сел на коня, двинулся на юг, к Гурьеву, и легко дается дорога, не петляет, не задерживает холмом или ямой-провалом неожиданными, и даже ветром в лицо не бьет. И обидно от того стало Махамбету, сыну Утемиса, воспитаннику суфийского медресе, а ныне – правоверному мусульманину мезхеба имама Ханефи сунны Пророка, мир ему... Обидно степняку, принявшему пустынного бога, что Небо-Тенгри его теперь за предателя держит. Не понимает Махамбет, не чувствует за собой вины никакой, не знает еще ни о том, что с Ак Медресе сделали, ни того, какое участия в этом муллы да муфтии принимали. А уж о своем участии и вовсе не задумывается. Потому что вся беда эта только сердцем его и чувствуется, а сердце – оно же думать не умеет!

Куда ему, этому куску беспокойной, вечно движущейся плоти, до мозга, а тем паче души правоверной, в коих только и должно пребывать мыслям! Плоть живая пускай язычниками-кяфирами признается и уважается, мы нынче все о душе печемся, за нее, болезную, и свою, и чужую плоть кромсать готовы!

Бьется живое сердце в груди, бьют живые копыта по широкой живой груди Великой Степи, несут живого Махамбета туда, где ждет его смерть. Пока еще не своя, чужая, пахнувшая еще издалека, за полчаса до заката, за полверсты до въезда в кочевье, гниющей уже плотью людей и коней, погибших... за что?

За день световой, ровно от рассвета, и до самого заката, добирался сын Утемиса до Аккыстау – Белой Зимовки, где от согыма – предзимнего боя скота, и до наурыза, весеннего праздника, стояло обычно кочевье Исатая Тайманова. Однако, солнце еще только целовало край степного горизонта, когда почуял он этот сладкий, страшный запах давно лишившихся жизни, но незахороненных тел. И, странное дело, поторопил он коня, чтобы застать, увидеть, что же там такое, хотя бы при последних лучах солнца, а солнце, будто такое же обиженное на него, как и вся Степь, возьми, да и тоже поторопись! Потому и первое тело на своем пути не разглядел, и если бы не лошадь, шарахнувшаяся в сторону от трупа, угодил бы копытом в гниющую плоть... такой же лошади. Не на согым-забой для зимовки убили хорошего коня – обломок казачьей пики торчал из пробитой конской шеи, брюхо, вздувшееся под дневным солнцем, казалось, готово взорваться, слепни живым, трепетным покровом облепили голову, и даже приближение спешившегося человека не оторвало их от долгой, обстоятельной трапезы.

В быстро сгущающихся сумерках, с трудом всматриваясь сквозь кажущийся плотным от трупного смрада воздух, Махамбет разглядел всадника. Кочевник лежал поодаль, в шагах десяти от своего коня, шапан на спине был рассечен от основания шеи до самой поясницы, меховая шапка будто пробита – нет! – вдавлена в кости разбитого черепа подкованным копытом, впечатав голову и без того истекавшего от сабельной раны на спине в жесткую степную траву. Еще один конь лежал шагах в двадцати поодаль. Брюхо его не было вздуто – пропоротая кожа выпростала наружу

конские внутренности, которые теперь тускло блестели в свете стремительно поднимающейся в небе луны, в эту ночь – полной и красноватой, будто вобравшей в себя часть крови от недавнего побоища. Всадник остался, как и был, в седле, половина туловища его была искромсана, будто сотни железных мух искусали жигита... как и бок его коня. Махамбет разжег лучину, чтобы получше рассмотреть раны. Кончиком ножа скovyрнул, достал свинцовую дроби́ну, вспомнил уроки побратима Исатая... Малая пищаль – пушечка, заряжаемая картечью, такая была только в гурьевском гарнизоне, у солдат, хотя были разговоры, что старую артиллерию разрешат казакам из реестровых забрать себе, когда новую из астраханского пушечного двора привезут. Видать, привезли. Потому как не верил Махамбет, добрый знакомец полковника Владимира Ивановича Даля, что имперский солдат по подданным русского государя, хоть и степнякам, из пищали палить начнет!

Вернулся к первому трупу, что увидел, с трудом, но выдрал застрявший в шейном позвонке обломок пики, тщательно протер щербатое острие подолом шапана с трупа, в тусклом свете лучины попытался разглядеть клеймо... Разглядел! Стиснул зубы, бросил взгляд вокруг. Темно, ничего не видно, только воздух черный, запах сладкий, тошнотворный, да шевеление в этой мерзкой тьме – то шакалы да лисы степные пришли мертвечиной поживиться. Бой этот случился явно утром, тел казачьих Махамбет не нашел, значит, либо врасплох застали степняков, либо тела своих с собой и забрали, а кайсаков оставили гнить. Не спрятали, не зарыли, на виду оставили, а это значит – не боялся разъезд казачий, что за убийства наказание будет, а что из того следует?

Следовало еще осмотреться, тем паче, что луна поднялась высоко, и осветила полностью место зимовки, превратившееся в поле боя. Еще два тела степняцких нашел Махамбет, и все – неподалеку, и на каждом – развороченные раны, злые укусы пищалевой картечи. Увидел и следы конские, множество следов, все подкованные не на степняцкий лад, но по казачьему уложению. Свежих следов стоянки не нашел, а значит так и не встали тут исатаевы люди на зимовку, столкнулся, видать,

передовой дозор с казачьей засадой, и смерть свою нашел, а что стало с самим кочевьем?

Топот конских копыт по ночной степи далеко слышится, а для человека знающего еще и многое рассказывает. Конь степняцкий, и конь кайсацкий всяко по-разному грудь Великой Степи топчут. И все же нет в нынешнее время доверия слуху своему, особенно когда бунт в степи, и брат на брата за новые ханские правила войной, значит, идет! Спрятаться негде, ускакать от боевого разъезда, наверняка вооруженного, дело рискованное, и сделал сын Утемиса то единственное, что могло его спасти, если это враги – бросился на землю, к мертвому коню, в тени раздутого брюха схоронился, сам мертвым прикинулся, замер, слух наострил.

Слышит речь родную, казахскую речь слышит, но открываться не спешит, рукою, прижатой к груди, крепко держит нож, ждет. Вот, чует, приблизился к нему человек, мягко ступает по земле в кожаной степняцкой обуви, вот, тыкает в широкую спину чем-то острым... В единый миг повернулся, схватил пику, дернул на себя что есть силы, человек от неожиданности охнул, падает на лежащего Махамбета, прямо на подставленный нож падает, в последнее мгновение успел, схватил его вытянутой рукой за грудки сын Утемиса, однако нож от груди не отвел, вглядывается в темное лицо, узнать пытается. А тот в ответ зубы скалит злой, и в тоже время – радостной улыбкой:

– Махамбет-го!

– Исмаил?!

– Уй-бай, Махамбет, совсем дурной стал, у груди родного брата нож держит? – послышался насмешливый голос.

Крепкие руки подняли с лежащего Махамбета все еще ухмыляющегося брата Исмаила, еще в прошлом году решившего остаться в кочевье Исатая, а вот и сам Исатай, при полном доспехе, возвышается темной, мерцающей в свете луны кольчужным металлом горой, над сыном Утемиса, так и оставшегося лежать с выставленным перед собой ножом.

+ + +

– Карауылкожа с казаками, видать, договорился, что они меня в

засаде ждать будут. Догадывался я, что нельзя беспечно на место старой зимовки идти, вперед отряд послал, восемь человек, только половина вернулась. Кочевье на восток повернул, а сам решил темноты дожждаться, за телами вернуться, но чего уж не ждал, так воспитателя ханского наследника тут встретить! – Исатай посмотрел на Махамбета долгим, пристальным взглядом. Будто разглядеть хотел, что у того в мыслях происходит. А мысли у сына Утемисова нынче вразброд, одна другую гонит, да все в разные стороны. А еще – обидно ему, что недоверие слышится в словах старшего побратима.

– Люди разное говорят, Махамбет! Будто ты с орысами совсем орысом стал, с татарами – татарин, так может и со своими – свой, потому что умеешь ты это... Вот, с мертвым лежал, почти как мертвый!

Зло хохотнули шутке своего предводителя жигиты исатаевы, что ехали позади. Луна на небе верно показывала, что ночь еще в самой середине своей – недолго длились похороны, там же, на месте, предали земле тела умерших жигитов, Махамбет молитву прочитал, и двинулись в путь. И весь этот путь чувствовал себя Махамбет будто среди чужих едет, словно и не побратим рядом с ним, но строго вопрошающий учитель, наставник, недовольный какой-то серьезной ошибкой своего ученика, который сам, вот уж право бестолочь, и понять не может – где же ошибся?!

– Вот все размышляю, Махамбет, в чем же я ошибся, когда против Карауылкожи пошел? Вроде бы и прав наш хан, хочет в степь нашу дух нового времени впустить, чтобы не отстали мы от других народов, не потерялись в прошлом, завязнув в нем всеми четырьмя копытами коня, с которого, может, и стоит уже сойти, как думаешь? Может, несправедливости тестя ханского – плата за то, что от прошлого с трудом отрываемся, на новую дорогу в будущее вступаем...

Смутился Махамбет. Разозлился Махамбет. Кровь вскипела в сердце бывшего теперь воспитателя ханского наследника, упрянца из упрямцев, сына Утемиса, что видел сегодня на закате мертвые тела сыновей своего народа, погибших от несправедливостей нового пути в будущее. И потому были речи его горькими, а голос – хриплым, глаза же налились красным, отражая кровавую

луну этой ночи:

– Что ты такое говоришь, защитник Орды Бокей хана? Как можешь ты сомневаться в пути предков, по которому шли поколения, когда видишь, что сходя с него, мы обрекаем на гибель братьев наших? Да кто мы с тобой такие есть, чтобы изменять обычаям Великой Степи, когда поколения предков наших шли по нему, и вот, родился Исатай, гордость рода бершей, батыр из батыров!..

– Помолчи, акын, не перед ханом речь держишь, а передо мной. – Исатай остановил речи Махамбета, поморщившись, будто что-то кислое ему в рот попало. – Я воин, мне твоя лесть ни к чему. И коли уж за дорогу предков, за древний путь Великой Степи заговорил ты нынче, так что же сам с такой легкостью принимаешь веру от татарских муфтиев, а наших аруаков прочь гонишь, так, что даже старый шаман, даром что любил тебя пуще сына, теперь и слышать о тебе не желает? Разве не древнее их арабского бога наш Тенгри, разве не с именем Великого Неба достигал своего величия – великий Шынгыс Хан, чьи внуки собирали дань с тех, кто ныне облагает данью нас?

Замолчал Махамбет. И не потому, что старший его побратим молчать велел, а потому, что ответить ему, по сути, нечего было. Голосом Исатая ныне заговорили его собственные мысли – те, что он сам загонял, как изгнанных из отары паршивых овец, в самые дальние края своего сознания, словно нерадивый пастух, в надежде, что погибнут они там, пропадут, перестанут смущать и оскорблять своим видом кажущееся таким единым, таким здоровым стадо мыслей-баранов, единым хором блеющих в один голос с муллами. Но паршивые овцы никуда не пропали, не сгнули, наоборот, превратились в волков сомнения, клыками логики раздирающих в клочья бывших сородичей, таких понятных в своей простоте, перекладывающих ответственность за судьбу свою и своего народа на высшую волю пастыря, ведущего их через тучную кормежку – под убойный нож.

Злые были эти мысли-волки, сильные, но немые до сей поры, и вот суровый воин дал им свой голос, подкрепил своею мудростью и опытом, и бесстрашно ринулись они на сбившееся в испуганное, блеющее обрывками догм стадо, не пугаясь тупых рогов страха перед гневом чужого бога. Это следовало остановить сей же час,

иначе он перестанет быть тем Махамбетом, которого все знают... перестанет быть самим собой, станет кем-то... кем-то другим! А это – всегда страшно, становится другим, даже если это и означает – взрослеть!

И Махамбет бросил вперед, наперерез волкам сомнения и ереси, свою веру. словно большой пес-тобет, чья пасть вечно истекает слюной голода по новой пище, новым разума, лишенным свободы воли, встала вера на пути сомнения, закрыв дорогу познанию, которое не бывает без боли потери себя-прежнего, без потери лживой невинности неведения, и спрятался ученик суфиев за веру свою, как прятался внешне за молчанием. закрыл зрение и слух души своей, чтобы не слышать вой и грызню волков сомнения против пса веры, не видеть этой битвы... И, как всегда происходит, когда человек не хочет видеть и слышать, укрываясь за верой, ушло сомнение прочь, без боя, уведя с собой и шанс на познание. Остались бараны-догмы, да сторожевой пес–вера, а между ними, потерянный и испуганный от чуть было не случившейся с ним перемены – он. Махамбет!

– Чего молчишь, акын? Всегда такой говорливый, что теперь, язык проглотил? – Исатай подозрительно смотрел на закрывшего глаза Махамбета, чье лицо еще мигмом ранее было искажено болью от внутренней борьбы, а теперь вдруг стало пустым и отрешенным. Так же отрешенно и пусто прозвучал его голос в ответ:

– Велел замолчать... я и следую твоему велению. Ты же старший. Так наш адат-обычай требует. Что старший велел – делай.

– А велю от хана своего отречься – отречешься? – вдруг, с неожиданной яростью в голосе спросил Исатай, и остановил коня совсем рядом, схватил за загривок, прижался лбом ко лбу, пристально вглядываясь в глаза младшему побратиму.

Остановились и жигиты Исатая, следовавшие за ними, удивленные, смотрели, как в свете луны два всадника слились в невиданную фигуру, и этот единый силуэт в ночи казался странным, пугающим зверем о восьми ногах, двух головах и сплетшихся, будто в борьбе, да так и застывших, всадниках.

Махамбет открыл глаза, и впервые показались они Исатаю, знавшему этого удивительного степняка с самого рождения, не

острыми наконечниками копий, но бездонными черными колодцами, из которых будто смотрела сама смерть, неизбежная для них обоих, задумавших бунт против своего государя, и голос Махамбета звучал, словно из глубокого колодца:

– Отрекись, Старший! Потому что – верю тебе. Все, что есть у меня сейчас, все, что осталось – это моя вера, а потому прими ее, ведь нет у меня для тебя ничего больше. И ни для кого – нет. От хана отрекись, от любви своей, коли велишь, откажись, но только не проси от веры отречься. Если любишь меня, брата своего, не проси...

Единственные слова, что могли проникнуть сквозь броню на сердце воина, которого все и всегда привыкли видеть в доспехе, сказал Махамбет. И единственный возможный ответ услышал от старшего побратима:

– Люблю тебя, брат. И никогда больше не посмею тронуть твою веру...

Махамбет перебил, все тем же, страшным, глухим голосом:

– И получишь за это верность мою, преданность, до самой смерти моей...

Так Махамбет, сын Утемиса, пошел против своего хана и благодетеля. Так он стал бунтарем.

+ + +

Кричевский теребил в руках письмо от Петра Кирилловича Эссена, присланное из самого Петербурга, и заверенное припиской от руки генерал-губернатора Оренбургского, графа Перовского, солдатски кратко начертавшего: «Согласен, одобряю, к исполнению!», и думал, что уже ничего не понимает в этой степной политике. Ведь все же свидетельства имеются, что острожник этот, Утемисов, есть бунтарь, и изменник, и речи супротив хана, самим государем Бокеевской Ордой управлять назначенного, говорил, и кайсаков к бунту Исатая Тайманова присоединиться подбивал, так что хошь расстреливай его, а хошь просто в холодной держи, где он и так от оспы мается, и сам душу богу своему магометанскому отдаст – все по закону будет! Так нет же, вроде как просит своего преемника, а на самом деле

– велит нынче Петр Кириллович, Махамбета, сына Утемисова, на волю отпускать, с соответствующей бумагою о его, генерал губернаторском помиловании. Вот и бумага к письму прилагается, а в бумаге той особо замечено, что помилование это состоялось по личной просьбе и заступничеству хана Жангир-Керея... Того, супротив которого Махамбет сей бунтовать чудит. И чего ему, кайсаку этому, надобно? Верно, сытно есть да сладко жить при шатре самого хана, сынку его, понимаешь, гувернерствовать, так нет, в бучу подался! Поди, пойми этих кайсаков, а того паче – поди пойми, что в премудрой голове строжайшего, но хитроумнейшего из чиновников государства Российского, Петра Кирилловича Эссена, творится? Эх, не по рангу коллежскому асессору да начальственные мысли пытаться понять, а по ранжиру приказы исправно в исполнение приводить, чтобы самому в бунтовщиках не оказаться. Потому как нету хуже в государстве этом слова такого, чем – бунтарь!

• *Песнь Махамбета*

Я скачу быстрее ветра –
Против ветра перемен.
Мне осталась только вера
В оправдание измен.
Под копытами тулпара
Все сомненья в прах летят.
Степь войны пылает жаром,
И куски свинца – свистят,
Пролетая мимо нас.
Жизни – время. Битве – час.

(стилизация А.Улдуз под стихи Махамбета Утемисулы)

+ + +

Исатай, мой брат, велик,
как кольчуги воротник,
как надежный, крепкий щит,
от врагов он защитит.

Был всегда он другом черни
для хановичей же – зверем.
Он, конечно, свирепел,
но, однако, не зверел.

Например, он мог однажды
при набеге резать гадюк,
но, в итоге (вот досада!),
проявилась в нем пощада...

Лет четыре или пять
вынужден он воевать,
все же ханскую гордыню
смог батыр наш потоптать.

...Конь – детеныш кобылицы.
Быль не отпрыск небылицы...
Иса-ке наш не боится
правду-быль, беду народа
всему ханскому отродью
сыпануть в глаза и лица.

Здесь, сидящий, Иса-ке
с головами тех врагов
уйму снял шоломов с плеч,
испуская вражью кровь,
напоил булатный меч.

Разве ветра-аргамака
породит обычный конь?!
Храбрецы среди казахов
уродятся ли как он?!

Махамбет Утемисулы – «Ода Исатаю» Romanlar